Ганс Христиан Андерсен

Калоши счастья

I. ДЛЯ НАЧАЛА

Дело было в Копенгагене, на Восточной улице, недалеко от Новой королевской площади. В одном доме собралось большое общество: приходится ведь время от времени принимать у себя гостей — примешь, угостишь и можешь, в свою очередь, ожидать приглашения. Часть общества уже уселась за карточные столы, другие же гости, с самой хозяйкой во главе, ждали, не выйдет ли чего-нибудь из слов хозяйки: «Ну, надо бы и нам придумать, чем заняться!» — а пока что беседовали между собою о том о сем.

Так вот разговор шел себе помаленьку и, между прочим, коснулся средних веков. Некоторые из собеседников считали эту эпоху куда лучше нашего времени; особенно горячо отстаивал это мнение советник Кнап; к нему присоединилась хозяйка дома, и оба принялись опровергать слова Эрстеда, доказывавшего в только что вышедшем новогоднем альманахе, что наше время в общем гораздо выше средних веков. Самою лучшею и счастливейшею эпохой советник признавал времена короля Ганса.

Под шумок этой беседы, прерванной лишь на минуту появлением вечерней газеты, в которой, однако, нечего было читать, мы перейдем в переднюю, где висело верхнее платье, стояли палки, зонтики и калоши. Тут же сидели две женщины: молодая и пожилая, явившиеся сюда, по-видимому, в качестве провожатых каких-нибудь старых барышень или вдовушек. Вглядевшись в них попристальнее, всякий, однако, заметил бы, что они не простые служанки; руки их были слишком нежны, осанка и все движения слишком величественны, да и платье отличалось каким-то особенно смелым, своеобразным покроем. Это были две феи; младшая если и не сама фея Счастья, то горничная одной из ее камер-фрейлин, на обязанности которой лежала доставка людям маленьких даров счастья; пожилая, смотревшая очень серьезно и озабоченно, была фея Печали, всегда исполнявшая все свои поручения собственною высокою персоной: таким образом она по крайней мере знала, что они исполнены как должно.

Они рассказывали друг другу, где побывали в этот день. Горничной одной из камер-фрейлин феи Счастья удалось исполнить сегодня лишь несколько ничтожных поручений: спасти от ливня чью-то новую шляпу, доставить одному почтенному человеку поклон от важного ничтожества и т. п. Зато у нее было в запасе кое-что необыкновенное.

— Дело в том, — сказала она, — что сегодня день моего рождения, и в честь этого мне дали пару калош, которые я должна принести в дар человечеству. Калоши эти обладают свойством переносить каждого, кто наденет их, в то место или в условия того времени, которые ему больше всего нравятся. Все желания человека относительно времени или местопребывания будут, таким образом, исполнены, и человек станет наконец воистину счастливым!

— Как бы не так! — сказала фея Печали. — Твои калоши принесут ему истинное несчастье, и он благословит ту минуту, когда избавится от них!

— Ну, вот еще! — сказала младшая из фей. — Я поставлю их тут у дверей, кто-нибудь по ошибке наденет их вместо своих и станет счастливцем.

Вот такой был разговор.

II. ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С СОВЕТНИКОМ

Было уже поздно; советник Кнап, углубленный в размышления о временах короля Ганса, собрался домой, и случилось ему вместо своих калош надеть калоши Счастья. Он вышел в них на улицу, и волшебная сила калош сразу перенесла его во времена короля Ганса, так что ноги его в ту же минуту ступили в невылазную грязь: в то время ведь еще не было тротуаров.

— Вот грязища-то! Ужас что такое! — сказал советник. — Вся панель затоплена, и ни одного фонаря!
Луна взошла еще недостаточно высоко; стоял густой туман, и все вокруг тонуло во мраке. На ближнем углу висел образ Мадонны (Во времена короля Ганса в Дании господствовало католичество. — Прим. перев.), и перед ним зажженная лампада, дававшая, однако, такой свет, что хоть бы его и не было вовсе; советник заметил его не раньше, чем поравнялся с образом вплотную.
— Ну, вот, — сказал он, — тут, верно, выставка картин, и они забыли убрать на ночь вывеску.
В это время мимо советника прошли несколько человек, одетых в средневековые костюмы.
— Что это они так вырядились? Должно быть, на маскараде были! — сказал советник.
Вдруг послышался барабанный бой и свист дудок, замелькали факелы, советник остановился и увидал странное шествие: впереди всех шли барабанщики, усердно работавшие палками, за ними — воины, вооруженные луками и самострелами; вся эта свита сопровождала какое-то знатное духовное лицо. Пораженный советник спросил, что означает это шествие и что это за важное лицо?
— Епископ Зеландский! — отвечали ему.
— Господи помилуй! Что такое приключилось с епископом? — вздохнул советник, качая головой.
— Нет, не может быть, чтобы это был епископ!
Размышляя о только что виденном и не глядя ни направо, ни налево, советник вышел на площадь Высокого моста. Моста, ведущего к дворцу, на месте, однако, не оказалось, и советник впотьмах едва разглядел какой-то широкий ручей да лодку, в которой сидели двое парней.
— Господину угодно на остров? — спросили они.
— На остров? — сказал советник, не знавший, что блуждает в средних веках. — Мне надо в Христианову гавань, в Малую торговую улицу!
Парни только посмотрели на него.
— Скажите мне, по крайней мере, где мост! — продолжал советник. — Ведь это безобразие! Не горит ни единого фонаря, и такая грязь, точно шагаешь по болоту.
Но чем больше он говорил с ними, тем меньше понимал их.
— Не понимаю я вашей борнгольмщины! (Борнгольмское наречие довольно отличается от господствующего в Дании зеландского наречия. — Примеч. перев.) — рассердился он наконец и повернулся к ним спиной. Но моста ему так и не удалось найти; перил на канале тоже не оказалось.
— Ведь это же просто скандал! — сказал он.
Никогда еще наше время не казалось ему таким жалким, как в данную минуту!
«Право, лучше взять извозчика! — подумал он. — Но куда же девались все извозчики? Хоть бы один! Вернусь на Новую королевскую площадь, там, наверное, стоят экипажи! Иначе мне вовек не добраться до Христиановой гавани!»
Он снова вернулся на Восточную улицу и уже почти прошел ее, когда над головой его всплыл полный месяц.
— Боже милостивый! Что это тут нагородили? — сказал он, увидев перед собой Восточные городские ворота, которыми заканчивалась в те времена Восточная улица.
Наконец он отыскал калитку и вышел на нынешнюю Новую королевскую площадь, бывшую в то время большим лугом. Кое-где торчали кусты, а посередине протекал какой-то ручей или канал; на противоположном берегу виднелись жалкие деревянные лачуги, в которых ютились лавки для голландских шкиперов, отчего и самое место называлось Голландским мысом.
— Или это обман зрения, фата-моргана, или я пьян! — охал советник. — Что же это такое? Что же это такое?
Он опять повернул назад в полной уверенности, что болен; на этот раз он держался ближе к домам и увидал, что большинство из них было построено наполовину из кирпичей, наполовину из бревен

и многие крыты соломой.
— Нет! Я положительно нездоров! — вздыхал он. — А ведь я выпил всего один стакан пунша, но для меня и этого много! Да и что за нелепость — угощать людей пуншем и вареной семгой! Я непременно скажу об этом агентше! Не вернуться ли мне к ним рассказать, что случилось со мной? Нет, неловко! Да и, пожалуй, они улеглись!
Он поискал знакомый дом, но и его не было.
— Это ужас что такое! Я не узнаю Восточной улицы! Ни единого магазина! Повсюду какие-то старые, жалкие лачуги, точно я в Роскилле или Рингстеде! Ах, я болен! Нечего тут и стесняться! Вернусь к ним! Но куда же девался дом агента? Или он сам на себя не похож больше?.. А, вот тут еще не спят! Ах, я совсем, совсем болен!
Он натолкнулся на полуотворенную дверь, из которой виднелся свет. Это была одна из харчевен тогдашней эпохи, нечто вроде нашей пивной. В комнате с глиняным полом сидели за кружками пива несколько шкиперов и копенгагенских горожан и два ученых; все были заняты беседой и не обратили на вновь вошедшего никакого внимания.
— Извините! — сказал советник встретившей его хозяйке. — Мне вдруг сделалось дурно! Не наймете ли вы мне извозчика в Христианову гавань?
Женщина посмотрела на него и покачала головой, потом заговорила с ним по-немецки. Советник подумал, что она не понимает по-датски, и повторил свою просьбу по-немецки; это обстоятельство в связи с покроем его платья убедило хозяйку, что он иностранец. Ему не пришлось, впрочем, повторять два раза, что он болен, — хозяйка сейчас же принесла ему кружку солоноватой колодезной воды. Советник оперся головой на руку, глубоко вздохнул и стал размышлять о странном зрелище, которое он видел перед собой.
— Это вечерний «День»? — спросил он, чтобы сказать что-нибудь, увидав в руках хозяйки какой-то большой лист.
Она не поняла его, но протянула ему лист; оказалось, что это был грубый рисунок, изображавший небесное явление, виденное в Кёльне.
— Вот старина! — сказал советник и совсем оживился, увидав такую редкость. — Откуда вы достали этот листок? Это очень интересно, хотя, разумеется, все выдумано! Как объясняют теперь, это было северное сияние, известное проявление воздушного электричества!
Сидевшие поближе и слышавшие его речь удивленно посмотрели на него, а один из них даже встал, почтительно приподнял шляпу и серьезно сказал:
— Вы, вероятно, большой ученый, monsieur?
— О, нет! — отвечал советник. — Так себе! Хотя, конечно, могу поговорить о том и о сем не хуже других!
— Modestia (Скромность (лат.).) — прекраснейшая добродетель! — сказал собеседник. — Что же касается вашей речи, то mihi secus videtur (Я другого мнения (лат.).), хотя я и охотно погожу высказывать свое judicium (Суждение (лат.).)!
— Смею спросить, с кем я имею удовольствие беседовать? — спросил советник.
— Я бакалавр богословия! — отвечал собеседник.
Этого было для советника вполне довольно: титул соответствовал покрою платья незнакомца. «Должно быть, какой-нибудь сельский учитель, каких еще можно встретить в глуши Ютландии!» — решил он про себя.
— Здесь, конечно, не locus docendi (Место ученых бесед (лат.).), — начал опять собеседник, — но я все-таки прошу вас продолжать вашу речь! Вы, должно быть, очень начитаны в древней литературе?
— Да, ничего себе! — отвечал советник. — Я почитываю кое-что хорошее и из древней

литературы, но люблю и новейшую, только не «Обыкновенные истории» (Здесь намекается на известный, произведший большую сенсацию роман датской писательницы г-жи Гюллембург «Обыкновенная история». — Примеч. перев.), — их довольно и в жизни!
— «Обыкновенные истории»? — спросил бакалавр.
— Да, я говорю о современных романах.
— О, они очень остроумны и имеют большой успех при дворе! — улыбнулся бакалавр. — Королю особенно нравятся романы о рыцарях Круглого стола, Ифвенте и Гаудиане; он даже изволил шутить по поводу них со своими высокими приближенными (Знаменитый датский писатель Хольберг рассказывает в своей «Истории Датского государства», что король Ганс, прочитав роман о рыцарях короля Артура, шутливо заметил своему любимцу Отто Руду: «Эти господа Ифвент и Гаудиан были удивительными рыцарями; теперь что-то таких не встречается!» На это Отто Руд ответил: «Если бы встречалось много таких королей, как Артур, встречалось бы много и таких рыцарей, как Ифвент и Гаудиан». — Примеч. автора.).
— Этого я еще не читал! — сказал советник. — Должно быть, Гейберг опять что-нибудь новое выпустил!
— Нет, не Гейберг, а Готфрид Геменский! — отвечал бакалавр.
— Вот кто автор! — сказал советник. — Это очень древнее имя! Так ведь назывался первый датский типограф!
— Да, это наш первый типограф! — отвечал бакалавр.
Таким образом разговор благополучно поддерживался. Потом один из горожан заговорил о чуме, свирепствовавшей несколько лет тому назад, то есть в 1484 году. Советник подумал, что дело шло о недавней холере, и беседа продолжалась.
Мимоходом нельзя было не затронуть столь близкую по времени войну 1490 года, когда английские каперы захватили на рейде датские корабли, и советник, переживший события 1801 года, охотно вторил общим нападкам на англичан. Но дальше беседа как-то перестала клеиться: добряк бакалавр был слишком невежествен, и самые простые выражения и отзывы советника казались ему слишком вольными и фантастическими. Они удивленно смотрели друг на друга, и, когда наконец совсем перестали понимать один другого, бакалавр заговорил по-латыни, думая хоть этим помочь делу, но не тут-то было.
— Ну что, как вы себя чувствуете? — спросила советника хозяйка и дернула его за рукав; тут он опомнился: в пылу разговора он совсем забыл, где он и что с ним.
«Господи, куда я попал?»
И голова у него закружилась при одной мысли об этом.
— Будем пить кларет, мед и бременское пиво! — закричал один из гостей. — И вы с нами!
Вошли две девушки; одна из них была в двухцветном чепчике (В описываемую эпоху девушки предосудительного поведения обязаны были носить такие чепчики. — Примеч. перев.). Они наливали гостям и затем низко приседали; у советника дрожь пробежала по спине.
— Что же это такое? Что же это такое? — говорил он, но должен был пить вместе со всеми; они так приставали к нему, что он пришел в полное отчаяние, и, когда один из собутыльников сказал ему, что он пьян, он ничуть не усомнился в его словах и только просил найти ему извозчика, а те думали, что он говорит по-московитски!
Никогда еще не случалось ему быть в такой простой и грубой компании. «Подумаешь, право, что мы вернулись ко временам язычества. Это ужаснейшая минута в моей жизни!»
Тут ему пришло в голову подлезть под стол, ползком добраться до двери и незаметно ускользнуть на улицу. Он уже был почти у дверей, как вдруг остальные гости заметили его намерение и схватили его за ноги. О, счастье! Калоши снялись с ног, а с ними исчезло и все колдовство!

Советник ясно увидел перед собой зажженный фонарь и большой дом, он узнал и этот дом, и все соседние, узнал Восточную улицу; сам он лежал на панели, упираясь ногами в чьи-то ворота, а возле него сидел и похрапывал ночной сторож.
— Боже ты мой! Так я заснул на улице! — сказал советник. — Да, да, это Восточная улица! Как тут светло и хорошо! Нет, это просто ужасно, что может наделать один стакан пунша!
Минуты две спустя он уже ехал на извозчике в Христианову гавань и, вспоминая дорогой только что пережитые им страх и ужас, от всего сердца восхвалял счастливую действительность нашего времени, которая со всеми своими недостатками все-таки куда лучше той, в которой ему довелось сейчас побывать. Да, теперь он сознавал это, и нельзя сказать, что поступал неблагоразумно.

III. ПРИКЛЮЧЕНИЕ НОЧНОГО СТОРОЖА
— Никак пара калош лежит! — сказал ночной сторож. — Должно быть, того офицера, что наверху живет. У самых ворот оставил!
Почтенный сторож охотно позвонил бы и отдал калоши владельцу, тем более что в окне у того еще виднелся огонь, да побоялся разбудить других жильцов в доме и не пошел.
— Удобно, должно быть, в таких штуках! — сказал он. — Кожа-то какая мягкая!
Калоши пришлись ему как раз по ногам, и он остался в них.
— А чудно, право, бывает на белом свете! Вот хоть бы офицер этот, шляется себе взад и вперед по комнате вместо того, чтобы спать в теплой постели! Счастливец! Нет у него ни жены, ни ребят! Каждый вечер в гостях! Будь я на его месте, я был бы куда счастливее!
Он сказал, а калоши сделали свое дело, и ночной сторож стал офицером и телом и душою.
Офицер стоял посреди комнаты с клочком розовой бумажки в руках. На бумажке были написаны стихи, сочинения самого г-на офицера. На кого не находят минуты поэтического настроения? А выльешь в такие минуты свои мысли на бумагу, и выйдут стихи. Вот что было написано на розовой бумажке:

«Будь я богат, я б офицером стал, —
Я мальчуганом часто повторял. —
Надел бы саблю, каску я и шпоры
И привлекал бы все сердца и взоры!»
Теперь ношу желанные уборы,
При них по-прежнему карман пустой,
Но ты со мною, Боже мой!
Веселым юношей сидел я раз
С малюткой-девочкой в вечерний час.
Я сказки говорил, она внимала,
Потом меня, обняв, расцеловала.
Дитя богатства вовсе не желало,
Я ж был богат фантазией одной;
Ты знаешь это, Боже мой!
«Будь я богат», — вздыхаю я опять,
Дитя девицею успело стать.
И как умна, как хороша собою,
Люблю, люблю ее я всей душою!
Но беден я и страсти не открою,
Молчу, вступить не смея в спор с судьбой;

Ты хочешь так, о Боже мой!
Будь я богат — счастливым бы я стал
И жалоб бы в стихах не изливал.
О, если бы сердечком угадала
Она любовь мою иль прочитала,
Что здесь пишу!.. Нет, лучше, чтоб не знала,
Я не хочу смутить ее покой.
Спаси ж ее, о, Боже мой!

Да, такие стихи пишут многие влюбленные, но благоразумные люди их не печатают. Офицер, любовь и бедность — вот треугольник, или, вернее, половинка разбитой игральной кости Счастья. Так оно казалось и самому офицеру, и он, глубоко вздыхая, прислонился головой к окну.

— Бедняк ночной сторож и тот счастливее меня! Он не знает моих мучений! У него есть свой угол, жена и дети, которые делят с ним и горе, и радость. Ах, будь я на его месте, я был бы счастливее!

В ту же минуту ночной сторож стал опять сторожем: он ведь сделался офицером только благодаря калошам, но, как мы видели, почувствовал себя еще несчастнее и захотел лучше быть тем, чем был на самом деле. Итак, ночной сторож стал опять ночным сторожем.

— Фу, какой гадкий сон приснился мне! — сказал он. — Довольно забавный, впрочем! Мне чудилось, что я будто бы и есть тот офицер, который живет там, наверху, и мне было совсем не весело! Мне недоставало жены и моих ребятишек, готовых зацеловать меня до смерти!

И ночной сторож опять заклевал носом, но сон все не выходил у него из головы. Вдруг с неба скатилась звезда.

— Ишь, покатилась! — сказал он. — Ну, да их много еще осталось! А посмотрел бы я эти штучки поближе, особенно месяц; тот уж не проскочит между пальцев! «По смерти, — говорит студент, на которого стирает жена, — мы будем перелетать с одной звезды на другую». Это неправда, а то забавно было бы! Вот если бы мне удалось прыгнуть туда сейчас, а тело пусть бы полежало тут, на ступеньках!

Есть вещи, которые вообще надо высказывать с опаской, особенно если у тебя на ногах калоши Счастья. Вот послушайте-ка, что случилось с ночным сторожем!

Все мы, люди, или почти все имеем понятие о скорости движения посредством пара: кто не езжал по железным дорогам или на корабле по морю? Но эта скорость все равно что скорость ленивца-тихохода или улитки в сравнении со скоростью света. Свет бежит в девятнадцать миллионов раз быстрее самого резвого рысака, а электричество — так и еще быстрее. Смерть — электрический удар в сердце, освобождающий нашу душу, которая и улетает из тела на крыльях электричества. Солнечный луч в 8 минут с секундами пробегает более 20 миллионов миль, но электричество мчит душу еще быстрее, и ей, чтобы облететь то же пространство, нужно еще меньше времени. Расстояние между различными светилами значат для нашей души не больше, чем для нас расстояние между домами наших друзей, даже если последние живут на одной и той же улице. Но такой электрический удар в сердце стоит нам жизни, если у нас нет, как у ночного сторожа, на ногах калош Счастья.

В несколько секунд ночной сторож пролетел 52 000 миль, отделяющих землю от луны, которая, как известно, состоит из менее плотного вещества, нежели наша земля, и мягка, как только что выпавший снег. Ночной сторож очутился на одной из бесчисленных лунных гор, которые мы знаем по лунным картам доктора Медлера; ты ведь тоже знаешь их? В котловине, лежавшей на целую датскую милю ниже подошвы горы, виднелся город с воздушными, прозрачными башнями, куполами и парусообразными балконами, колыхавшимися в разряженном воздухе; на взгляд все это было похоже на выпущенный в стакан воды яичный белок; над головой ночного сторожа плыла

наша земля в виде большого огненно-красного шара.
На луне было много жителей, которых по-нашему следовало бы назвать людьми, но у них был совсем другой вид и свой особый язык, и, хотя никто не может требовать, чтобы душа ночного сторожа понимала лунный язык, она все-таки понимала его.
Лунные жители спорили о нашей земле и сомневались в ее обитаемости: воздух на земле был слишком плотен, чтобы на ней могло существовать разумное лунное создание. По их мнению, луна была единственною обитаемою планетой и колыбелью первого поколения планетных обитателей.
Но вернемся на Восточную улицу и посмотрим, что было с телом ночного сторожа.
Безжизненное тело по-прежнему сидело на ступеньках, палка сторожа или, как ее зовут у нас, «утренняя звезда», выпала из рук, а глаза остановились на луне, где путешествовала душа.
— Который час? — спросил ночного сторожа какой-то прохожий и, конечно, не дождался ответа.
Тогда прохожий легонько щелкнул сторожа по носу; тело потеряло равновесие и растянулось во всю длину — ночной сторож «был мертв». Прохожий перепугался, но «мертвый» остался «мертвым»; заявили в полицию, и утром тело отвезли в больницу.
Вот была бы штука, если бы душа вернулась и стала искать тело там, где оставила его, то есть, на Восточной улице! Она, наверное, бросилась бы в полицию, а потом в контору объявлений искать его в отделе потерянных вещей и потом уже отправилась бы в больницу. Не стоит, однако, беспокоиться: душа поступает куда умнее, если действует самостоятельно, — только тело делает ее глупой.
Как сказано, тело ночного сторожа привезли в больницу и внесли в приемный покой, где, конечно, первым долгом сняли с него калоши, и душе пришлось вернуться обратно; она сразу нашла дорогу в тело, и раз, два — человек ожил! Он уверял потом, что пережил ужаснейшую ночь в жизни: даже за две серебряные марки не согласился бы он пережить такие страсти во второй раз; но теперь дело было, слава Богу, кончено.
В тот же день его выписали из больницы, а калоши остались там.

IV. «ГОЛОВОЛОМНОЕ» ДЕЛО.
В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ НЕОБЫЧАЙНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Всякий копенгагенец, конечно, знает наружный вид больницы Фредерика, но, может быть, историю эту прочтут и не копенгагенцы, поэтому нужно дать маленькое описание.
Больница отделена от улицы довольно высокою решеткой из толстых железных прутьев, расставленных настолько редко, что, как говорят, многие тощие студенты-медики могли отлично протискиваться между ними, когда им нужно было сделать в неурочный час маленький визит по соседству. Труднее всего в таких случаях было просунуть голову, так что и тут, как вообще часто в жизни, малоголовые оказывались счастливцами.
Ну вот, для вступления и довольно.
В этот вечер в больнице дежурил как раз такой молодой студент, о котором лишь в физическом смысле сказали бы, что он из числа большеголовых. Шел проливной дождь, но, несмотря на это неудобство, студенту все-таки понадобилось уйти с дежурства всего на четверть часа, так что не стоило, по его мнению, и беспокоить привратника, тем более что можно было попросту проскользнуть через решетку. Калоши, забытые сторожем, все еще оставались в больнице; студенту и в голову не приходило, что это калоши Счастья, но они были как раз кстати в такую дурную погоду, и он надел их. Теперь оставалось только пролезть между железными прутьями, чего ему еще ни разу не случалось пробовать.
— Помоги Бог только просунуть голову! — сказал студент, и голова его, несмотря на всю свою величину, сразу проскочила между прутьями — это было дело калош. Теперь очередь была за

туловищем, но с ним-то и пришлось повозиться.
— Ух! Я чересчур толст! — сказал студент. — А я думал, что труднее всего будет просунуть голову! Нет, мне не пролезть!
И он хотел было поскорее выдернуть голову обратно, но не тут-то было. Шею он мог поворачивать как угодно, но на этом дело и кончалось.
Сначала студент наш рассердился, но потом расположение его духа быстро упало до нуля. Калоши Счастья поставили его в ужаснейшее положение, и, к несчастью, ему не приходило в голову пожелать освободиться; он только неутомимо вертел шеей и — не двигался с места. Дождь лил как из ведра, на улицах не было ни души, до колокольчика, висевшего у ворот, дотянуться было невозможно — как тут освободиться! Он предвидел, что ему, пожалуй, придется простоять в таком положении до утра и тогда уж послать за кузнецом, чтобы он перепилил прутья. Дело, однако, делается не так-то скоро, и пока успеют подняться на ноги все школьники, все жители Новой слободки (Новая слободка — ряд домиков на окраине Копенгагена, построенных первоначально для матросов морского ведомства. — Примеч. перев.); все сбегутся и увидят его в этой позорной железной клетке!
— Уф! Кровь так и стучит в виски! Я готов с ума сойти! Да и сойду! Ах, если бы мне только удалось освободиться!
Следовало бы ему сказать это пораньше! В ту же минуту голова его освободилась, и он опрометью кинулся назад, совсем ошалев от страха, который только что испытал благодаря калошам Счастья.
Не думайте, однако, что дело этим и кончилось, — нет, будет еще хуже.
Прошла ночь, прошел еще день, а за калошами никто не являлся.
Вечером давалось представление в маленьком театре на улице Каноников. Театр был полон; между прочими номерами представления было продекламировано стихотворение «Тетушкины очки» (Самое стихотворение пропускается как не представляющее, благодаря своему чисто мистическому характеру, никакого интереса для современных русских читателей. — Примеч. перев.); в нем говорилось о чудесных очках, в которые можно было видеть будущее.

Из другого перевода

У бабушки моей был дар такой,
Что раньше бы сожгли ее живой.
Ведь ей известно все и даже более:
Грядущее узнать — в ее то было воле,
В сороковые проникала взором,
Но просьба рассказать всегда кончалась спором.
"Скажи мне, говорю, грядущий год,
Какие нам событья принесет?
И что произойдет в искусстве, в государстве?"
Но бабушка, искусная в коварстве,
Молчит упрямо, и в ответ ни слова.
И разбранить меня подчас готова.
Но как ей устоять, где взять ей сил?
Ведь я ее любимцем был.
"По-твоему пусть будет в этот раз, —
Сказала бабушка и мне тотчас
Очки свои дала. — Иди-ка ты туда,

Где собирается народ всегда,
Надень очки, поближе подойди
И на толпу людскую погляди.
В колоду карт вдруг обратятся люди.
По картам ты поймешь, что было и что будет".
Сказав спасибо, я ушел проворно.
Но где найти толпу? На площади, бесспорно.
На площади? Но не люблю я стужи.
На улице? Там всюду грязь да лужи.
А не в театре ли? Что ж, мысль на славу!
Вот где я встречу целую ораву.
И наконец я здесь! Мне стоит лишь очки достать,
И стану я оракулу под стать.
А вы сидите тихо по местам:
Ведь картами казаться надо вам,
Чтоб будущее было видно ясно.
Молчанье ваше — знак, что вы согласны.
Сейчас судьбу я расспрошу, и не напрасно,
Для пользы собственной и для народа.
Итак, что скажет карт живых колода.
(Надевает очки.)
Что вижу я! Ну и потеха!
Вы, право, лопнули б от смеха,
Когда увидели бы всех тузов бубновых,
И нежных дам, и королей суровых!
Все пики, трефы здесь чернее снов дурных.
Посмотрим же как следует на них.
Та дама пик известна знаньем света —
И вот влюбилась вдруг в бубнового валета.
А эти карты что нам предвещают?
Для дома много денег обещают
И гостя из далекой стороны,
А впрочем, гости вряд ли нам нужны.
Беседу вы хотели бы начать
С сословий? Лучше помолчать!
А вам я дам один благой совет:
Вы хлеб не отбирайте у газет.
Иль о театрах? Закулисных треньях?
Ну нет! С дирекцией не порчу отношенья.
О будущем моем? Но ведь известно:
Плохое знать совсем неинтересно.
Я знаю все — какой в том прок:
Узнаете и вы, когда наступит срок!
Что, что? Кто всех счастливей среди вас?
Ага! Счастливца я найду сейчас...
Его свободно можно б отличить,

Да остальных пришлось бы огорчить!
Кто дольше проживет? Ах, он? Прекрасно!
Но говорить на сей сюжет опасно.
Сказать? Сказать? Сказать иль нет?
Нет, не скажу — вот мой ответ!
Боюсь, что оскорбить могу я вас,
Уж лучше мысли ваши я прочту сейчас,
Всю силу волшебства признав тотчас.
Угодно вам узнать? Скажу себе в укор:
Вам кажется, что я, с каких уж пор,
Болтаю перед вами вздор.
Тогда молчу, вы правы, без сомненья,
Теперь я сам хочу услышать ваше мненье.

Стихотворение было прочитано превосходно, и чтец имел большой успех. Среди публики находился и наш студент-медик, который, казалось, успел уже позабыть приключение предыдущего вечера. Калоши опять были у него на ногах: за ними никто не пришел, а на улицах было грязно, и они опять сослужили ему службу.

Стихотворение очень ему понравилось.

Он был бы не прочь иметь такие очки: надев их, пожалуй, можно было бы, при известном искусстве, читать в сердцах людей, а это еще интереснее, нежели провидеть будущее: последнее и без того узнается в свое время.

«Вот, например, — думал студент, — тут, на первой скамейке, целый ряд зрителей; что, если бы проникнуть в сердце каждого? В него, вероятно, есть же какой-нибудь вход, вроде как в лавочку, что ли!.. Ну и насмотрелся бы я! Вот у этой барыни я, наверно, нашел бы в сердце целый модный магазин! У этой лавочка оказалась бы пустой; не мешало бы только почистить ее хорошенько! Но, конечно, нашлись бы и солидные магазины! Ах! Я даже знаю один такой, но... в нем уже есть приказчик! Вот единственный недостаток этого чудного магазина! А из многих, я думаю, закричали бы: «К нам, к нам пожалуйте!» Да, я бы с удовольствием прогулялся по сердцам, в виде маленькой мысли например».

Калошам только того и надо было. Студент вдруг весь съежился и начал в высшей степени необычайное путешествие по сердцам зрителей первого ряда. Первое сердце, куда он попал, принадлежало даме, но в первую минуту ему почудилось, что он в ортопедическом институте — так называется заведение, где доктора лечат людей с разными физическими недостатками и уродствами — и в той именно комнате, где по стенам развешаны гипсовые слепки с уродливых частей человеческого тела; вся разница была в том, что в институте слепки снимаются, когда пациент приходит туда, а в сердце этой дамы они делались уже по уходе добрых людей: тут хранились слепки физических и духовных недостатков ее подруг.

Скоро студент перебрался в другое женское сердце, но это сердце показалось ему просторным святым храмом; белый голубь невинности парил над алтарем. Он охотно преклонил бы здесь колени, но нужно было продолжать путешествие. Звуки церковного органа еще раздавались у него в ушах, он чувствовал себя точно обновленным, просветленным и достойным войти в следующее святилище. Последнее показалось ему бедною каморкой, где лежала больная мать; через открытое окно сияло теплое солнышко, из маленького ящичка на крыше кивали головками чудесные розы, а две небесно-голубые птички пели о детской радости, в то время как больная мать молилась за дочь.

Вслед за тем он на четвереньках переполз в битком набитую мясную лавку, где всюду натыкался на одно мясо; это было сердце богатого, всеми уважаемого человека, имя которого можно найти в

адрес-календаре.
Оттуда студент попал в сердце его супруги; это была старая полуразвалившаяся голубятня; портрет мужа служил флюгером; к нему была привязана входная дверь, которая то отворялась, то запиралась, смотря по тому, в которую сторону повертывался супруг.
Потом студент очутился в зеркальной комнате, вроде той, что находится в Розенборгском дворце, но зеркала увеличивали все в невероятной степени, а посреди комнаты сидело, точно какой-то далай-лама, ничтожное «я» данной особы и благоговейно созерцало свое собственное величие.
Затем ему показалось, что он перешел в узкий игольник, полный острых иголок. Он подумал было, что попал в сердце какой-нибудь старой девы, но ошибся — это было сердце молодого военного, украшенного орденами и слывшего за «человека с умом и сердцем».
Совсем ошеломленный, очутился наконец несчастный студент на своем месте и долго-долго не мог опомниться: нет, положительно фантазия его уж чересчур разыгралась.
«Господи, Боже мой! — вздыхал он про себя. — Я, кажется, в самом деле начинаю сходить с ума. Да и что за непозволительная жара здесь! Кровь так и стучит в висках!» Тут ему вспомнилось вчерашнее его приключение. «Да, да, вот оно, начало всего! — думал он. — Надо вовремя принять меры. Особенно помогает в таких случаях русская баня. Ах, если бы я уже лежал на полке!»
В ту же минуту он и лежал там, но лежал одетый, в сапогах и калошах; на лицо ему капала с потолка горячая вода.
— Уф! — закричал он и побежал принять душ.
Банщик тоже громко закричал, увидав в бане одетого человека. Студент, однако, не растерялся и шепнул ему:
— Это на пари!
Придя домой, он, однако, закатил себе две шпанские мушки, одну на шею, другую на спину, чтобы выгнать помешательство.
Наутро вся спина у него была в крови — вот и все, что принесли ему калоши Счастья.

V. ПРЕВРАЩЕНИЕ ПИСЬМОВОДИТЕЛЯ
Ночной сторож, которого вы, может быть, еще не забыли, вспомнил между тем о найденных и затем оставленных им в больнице калошах и явился за ними. Ни офицер, ни кто другой из обывателей той улицы не признали, однако, их за свои, и калоши снесли в полицию.
— Точь-в-точь мои! — сказал один из господ полицейских письмоводителей, рассматривая находку и свои собственные калоши, стоявшие рядом, — сам мастер не отличил бы их друг от друга!
— Господин письмоводитель! — сказал вошедший с бумагами полицейский.
Письмоводитель обернулся к нему и поговорил с ним, а когда вновь взглянул на калоши, то уже и сам не знал, которые были его собственными: те ли, что стояли слева, или что справа?
«Должно быть, вот эти мокрые — мои!» — подумал он, да и ошибся: это были как раз калоши Счастья; но почему бы и служителю полиции не ошибиться иногда? Он надел их, сунул некоторые бумаги в карман, другие взял под мышку: ему надо было просмотреть и переписать их дома. День был воскресный, погода стояла хорошая, и он подумал, что недурно будет прогуляться в Фредериксбергский сад.
Пожелаем же этому тихому трудолюбивому молодому человеку приятной прогулки — ему вообще полезно было прогуляться после продолжительного сидения в канцелярии.
Сначала он шел, не думая ни о чем, так что калошам не было еще случая проявить свою волшебную силу.
В аллее письмоводитель встретил молодого поэта, который сообщил ему, что уезжает

путешествовать.
— Опять уезжаете! — сказал письмоводитель. — Счастливый вы народ, свободный! Порхаете себе, куда хотите, не то что мы! У нас цепи на ногах!
— Они приковывают вас к хлебному местечку! — отвечал поэт. — Вам не нужно заботиться о завтрашнем дне, а под старость получите пенсию!
— Нет, все-таки вам живется лучше! — сказал письмоводитель. — Писать стихи — это удовольствие! Все вас расхваливают, и к тому же вы сами себе господа! А вот попробовали бы вы посидеть в канцелярии да повозиться с этими пошлыми делами!
Поэт покачал головой, письмоводитель тоже, каждый остался при своем мнении, с тем они и распрощались.
«Совсем особый народ эти поэты! — подумал письмоводитель. — Хотелось бы мне побывать на их месте, самому стать поэтом. Уж я бы не писал таких ноющих стихов, как другие! Сегодня как раз настоящий весенний день для поэта! Воздух как-то необыкновенно прозрачен, и облака удивительно красивы! А что за запах, что за благоухание! Да, никогда еще я не чувствовал себя так, как сегодня».
Замечаете? Он уже стал поэтом, хотя на вид и не изменился нисколько: нелепо ведь предполагать, что поэты какая-то особая порода людей; и между обыкновенными смертными могут встречаться натуры куда более поэтические, нежели многие признанные поэты; вся разница в том, что у поэтов более счастливая духовная память, позволяющая им крепко хранить в своей душе идеи и чувства до тех пор, пока они наконец ясно и точно не выльются в словах и образах. Сделаться из простого, обыкновенного человека поэтическою натурой, впрочем, все же своего рода превращение, и вот оно-то и произошло с письмоводителем.
«Какой чудный аромат! — думал он. — Мне вспоминаются фиалки тетушки Лоны! Да, я был тогда еще ребенком! Господи, сколько лет я не вспоминал о ней! Добрая старая девушка! Она жила там, за биржей! У нее всегда, даже в самые лютые зимы, стояли в воде какие-нибудь зелененькие веточки или отростки. Фиалки так и благоухали, а я прикладывал к замерзшим оконным стеклам нагретые медные монетки, чтобы оттаять себе маленькие кругленькие отверстия для глаз. Вот была панорама! На канале стояли пустые зазимовавшие корабли со стаями каркавших ворон вместо команды. Но вот наступала весна, и на них закипала работа, раздавались песни и дружные «ура» рабочих, подрубавших вокруг кораблей лед; корабли смолились, конопатились и затем отплывали в чужие страны. А я оставался! Мне было суждено вечно сидеть в канцелярии и только смотреть, как другие выправляли себе заграничные паспорта! Вот моя доля! Увы!» Тут он глубоко вздохнул и затем вдруг приостановился.
«Что это, право, делается со мной сегодня? Никогда еще не задавался я такими мыслями и чувствами! Это, должно быть, действие весеннего воздуха! И жутко, и приятно на душе! — И он схватился за бумаги, бывшие у него в кармане. — Бумаги дадут моим мыслям другое направление». Но, бросив взгляд на первый же лист, он прочел: «Зигбрита, трагедия в 5 действиях». «Что такое?! Почерк, однако, мой... Неужели я написал трагедию? А это что? «Интрижка на балу, водевиль». Нет, откуда же все это? Кто это подсунул мне? А вот еще письмо!» Письмо было не из вежливых; автором его была театральная дирекция, забраковавшая обе упомянутые пьесы.
— Гм! Гм! — произнес письмоводитель и присел на скамейку. Мысли у него так и играли, душа была как-то особенно мягко и нежно настроена; машинально сорвал он какой-то росший возле цветочек и засмотрелся на него. Это была простая ромашка, но в одну минуту она успела рассказать ему столько, сколько нам впору узнать на нескольких лекциях ботаники. Она рассказала ему чудесную повесть о своем появлении на свет, о волшебной силе солнечного света,

заставившего распуститься и благоухать ее нежные лепесточки. Поэт же в это время думал о жизненной борьбе, пробуждающей дремлющие в груди человека силы. Да, воздух и свет — возлюбленные цветка, но свет является избранником, к которому постоянно тянется цветок; когда же свет погасает, цветок свертывает свои лепестки и засыпает в объятиях воздуха.
— Свету я обязана своею красотой! — говорила ромашка.
— А чем бы ты дышала без воздуха? — шепнул ей поэт.
Неподалеку от него стоял мальчуган и шлепал палкой по канавке; брызги мутной воды так и летели в зеленую траву, и письмоводитель стал думать о миллионах невидимых организмов, взлетавших вместе с каплями воды на заоблачную для них — в сравнении с их собственною величиной — высоту. Думая об этом и о том превращении, которое произошло с ним сегодня, письмоводитель улыбнулся. «Я просто сплю и вижу сон! Удивительно, однако, до чего сон может быть живым! И все-таки я отлично сознаю, что это только сон. Хорошо, если бы я вспомнил завтра поутру все, что теперь чувствую; теперь я удивительно хорошо настроен: смотрю на все как-то особенно здраво и ясно, чувствую какой-то особый подъем духа. Увы! Я уверен, что к утру в воспоминании у меня останется одна чепуха! Это уже не раз бывало! Все эти умные, дивные вещи, которые слышишь и сам говоришь во сне, похожи на золото гномов: при дневном свете оно оказывается кучею камней и сухих листьев. Увы!»
Письмоводитель грустно вздохнул и поглядел на весело распевавших и перепархивавших с ветки на ветку птичек.
«Им живется куда лучше нашего! Уменье летать — завидный дар! Счастлив, кто родился с ним! Если бы я мог превратиться во что-нибудь, я пожелал бы быть этаким маленьким жаворонком!»
В ту же минуту рукава и фалды его сюртука сложились в крылья, платье стало перышками, а калоши когтями. Он отлично заметил все это и засмеялся про себя: «Ну, теперь я вижу, что сплю! Но таких смешных снов мне еще не случалось видеть!» Затем он взлетел на дерево и запел, но в его пении уже не было поэзии — он перестал быть поэтом: калоши, как и всякий, кто относится к делу серьезно, могли исполнять только одно дело зараз: хотел он стать поэтом и стал, захотел превратиться в птичку и превратился, но зато утратил уже прежний свой дар. «Недурно! — подумал он. — Днем я сижу в полиции, занятый самыми важными делами, а ночью мне снится, что я летаю жаворонком в Фредериксбергском саду! Вот сюжет для народной комедии!»
И он слетел на траву, вертел головкой и пощипывал клювом гибкие стебельки, казавшиеся ему теперь огромными пальмовыми ветвями.
Вдруг кругом него сделалось темно как ночью: на него был наброшен какой-то огромный, как ему показалось, предмет — это мальчуган накрыл его своей фуражкой. Под фуражку подлезла рука и схватила письмоводителя за хвост и за крылья, так что он запищал, а затем громко крикнул:
— Ах, ты, бессовестный мальчишка! Ведь я полицейский письмоводитель!
Но мальчуган расслышал только «пип-пип», щелкнул птицу по клюву и пошел с ней своею дорогой. В аллее встретились ему два школьника из высшего класса, то есть по положению в обществе, а не в школе. Они купили птицу за 8 скиллингов (Скиллинг — мелкая медная датская монета, уже вышедшая из употребления. — Примеч. перев.), и вот письмоводитель вновь вернулся в город и попал в одно семейство, жившее на Готской улице.
«Хорошо, что это сон, — думал письмоводитель, — не то бы я, право, рассердился! Сперва я был поэтом, потом стал жаворонком! Моя поэтическая натура и заставила меня пожелать превратиться в это крошечное созданьице! Довольно печальная участь, однако! Особенно если попадешь в лапы мальчишек. Но любопытно все-таки узнать, чем все это кончится?»
Мальчики принесли его в богато убранную гостиную, где их встретила толстая улыбающаяся барыня; она не особенно обрадовалась простой полевой птице, как она назвала жаворонка, хотя и

позволила посадить его на время в пустую клетку, стоявшую на окне.
— Может быть, она позабавит попочку! — сказала барыня и улыбнулась большому зеленому попугаю, важно качавшемуся на кольце в своей великолепной металлической клетке. — Сегодня попочкино рожденье, — продолжала она глупо-наивным тоном, — и полевая птичка пришла его поздравить!
Попочка не ответил ни слова, продолжая качаться взад и вперед, зато громко запела хорошенькая канарейка, только прошлым летом привезенная со своей теплой, благоухающей родины.
— Крикунья! — сказала барыня и набросила на клетку белый носовой платок.
— Пип, пип! Какая ужасная метель! — вздохнула канарейка и умолкла. Письмоводитель, или, как назвала его барыня, полевая птица, был
посажен в клетку, стоявшую рядом с клеткой канарейки и недалеко от попугая. Единственное, что попугай мог прокартавить человечьим голосом, была фраза, звучавшая иногда очень комично: «Нет, хочу быть человеком!» Все остальное выходило у него так же непонятно, как и щебетанье канарейки; непонятно для людей, а не для письмоводителя, который сам был теперь птицей и отлично понимал своих собратьев.
— Я летала под сенью зеленых пальм и цветущих миндальных деревьев! — пела канарейка. — Я летала со своими братьями и сестрами над роскошными цветами и тихими зеркальными водами озер, откуда нам приветливо кивал зеленый тростник. Я видела там прелестных попугаев, умевших рассказывать забавные сказки без конца, без счета!
— Дикие птицы! — ответил попугай. — Без всякого образования. Нет, хочу быть человеком!.. Что ж ты не смеешься? Если это смешит госпожу и всех гостей, то и ты, кажется, могла бы засмеяться! Это большой недостаток — не уметь ценить забавных острот. Нет, хочу быть человеком!
— Помнишь ли ты красивых девушек, плясавших под сенью усыпанных цветами деревьев? Помнишь сладкие плоды и прохладный сок диких овощей?
— О да! — сказал попугай. — Но здесь мне гораздо лучше. У меня хороший стол, и я свой человек в доме. Я знаю, что я малый с головой, и этого с меня довольно. Нет, хочу быть человеком! У тебя, что называется, поэтическая натура, я же обладаю основательными познаниями и к тому же остроумен. В тебе есть гений, но тебе не хватает рассудительности, ты берешь всегда чересчур высокие ноты, и тебе за это зажимают рот. Со мной этого не случится — я обошелся им подороже! К тому же я внушаю им уважение своим клювом и остер на язык! Нет, хочу быть человеком!
— О, моя теплая, цветущая родина! — пела канарейка. — Я стану воспевать твои темно-зеленые леса, твои тихие заливы, где ветви лобызают прозрачные волны, где растут «водоемы пустыни» (Кактусы. — Примеч. перев.); стану воспевать радость моих блестящих братьев и сестер!
— Оставь ты свои ахи и охи! — сказал попугай. — Состри-ка лучше да посмеши нас! Смех — признак высшего умственного развития. Ведь ни лошадь, ни собака не смеются, они могут только плакать; смех — это высший дар, отличающий человека! Хо, хо, хо! — захохотал попугай и опять сострил: — Нет, хочу быть человеком!
— И ты попалась в плен, серенькая датская птичка! — сказала канарейка жаворонку. — В твоих лесах, конечно, холодно, но все же ты была там свободна! Улетай же! Смотри, они забыли запереть тебя, форточка открыта — улетай, улетай!
Письмоводитель так и сделал, выпорхнул и сел на клетку. В эту минуту в полуоткрытую дверь скользнула из соседней комнаты кошка с зелеными сверкающими глазами и бросилась на него. Канарейка забилась в клетке, попугай захлопал крыльями и закричал:
— Нет, хочу быть человеком!
Письмоводителя охватил смертельный ужас, и он вылетел в форточку на улицу, летел-летел, наконец устал и захотел отдохнуть.

Соседний дом показался ему знакомым; одно окно было открыто, он влетел в комнату — это была его собственная комната — и сел на стол.
— Нет, хочу быть человеком! — сказал он, бессознательно повторяя остроту попугая, и в ту же минуту стал опять письмоводителем, но оказалось, что он сидит на столе!
— Господи помилуй! — сказал он. — Как это я попал сюда, да еще заснул! И какой сон приснился мне! Вот чепуха-то!

VI. ЛУЧШЕЕ, ЧТО СДЕЛАЛИ КАЛОШИ
На другой день, рано утром, когда письмоводитель еще лежал в постели, в дверь постучали и вошел сосед его, студент-богослов.
— Одолжи мне твои калоши! — сказал он. — В саду еще сыро, но солнышко так и сияет, — пойти выкурить на воздухе трубочку!
Надев калоши, он живо сошел в сад, в котором было одно грушевое и одно сливовое дерево, но даже и такой садик считается в Копенгагене (В старой части города. — Примеч. перев.) большою роскошью.
Богослов ходил взад и вперед по дорожке; было всего шесть часов утра; с улицы донесся звук почтового рога.
— О, путешествовать, путешествовать! Лучше этого нет ничего в мире! — промолвил он. — Это высшая, заветная цель моих стремлений! Удастся мне достигнуть ее, и эта внутренняя тревога моего сердца и помыслов уляжется. Но я так и рвусь вдаль! Дальше, дальше... видеть чудную Швейцарию, Италию...
Да, хорошо, что калоши действовали немедленно, не то он забрался бы, пожалуй, чересчур далеко и для себя, и. для нас! И вот он уже путешествовал по Швейцарии, упрятанный в дилижанс вместе с восьмью другими пассажирами. У него болела голова, ныла спина, ноги затекли и распухли, сапоги жали нестерпимо. Он не то спал, не то бодрствовал. В правом боковом кармане у него лежали переводные векселя на банкирские конторы, в левом — паспорт, а на груди — мешочек с зашитыми в нем золотыми монетами; стоило богослову задремать, и ему чудилось, что та или другая из этих драгоценностей потеряна; дрожь пробегала у него по спине, и рука лихорадочно описывала треугольник — справа налево и на грудь, чтобы удостовериться в целости всех своих сокровищ. В сетке под потолком дилижанса болтались зонтики и шляпы и порядочно мешали ему любоваться дивными окрестностями. Он смотрел-смотрел, а в ушах его так и звучало четверостишие, которое сложил во время путешествия по Швейцарии, не предназначая его, однако, для печати, один небезызвестный нам поэт:

Да, хорошо здесь! И Монблан
Я вижу пред собой, друзья!
Когда б к тому тугой карман,
Вполне счастливым был бы я!
Окружающая природа была сурово-величава; сосновые леса на вершинах высоких гор казались каким-то вереском; начал порошить снег, подул резкий холодный ветер.
— Брр! Если бы мы были по ту сторону Альп, у нас было бы уже лето, а я получил бы деньги по моим векселям! Из страха потерять их я и не могу как следует наслаждаться Швейцарией. Ах, если б мы уже были по ту сторону Альп!
И он очутился по ту сторону Альп, в середине Италии, между Флоренцией и Римом. Тразименское озеро было освещено вечерним солнцем; здесь, где некогда Ганнибал разбил Фламиния, цеплялись друг за друга своими зелеными пальчиками виноградные лозы; прелестные полунагие дети пасли

на дороге под тенью цветущих лавровых деревьев черных как смоль свиней. Да, если изобразить все это красками на полотне, все заахали бы: «Ах, чудная Италия!» Но ни богослов, ни его дорожные товарищи, сидевшие в почтовой карете, не говорили этого.
В воздухе носились тучи ядовитых мух и комаров; напрасно путешественники обмахивались миртовыми ветками — насекомые кусали и жалили их немилосердно; в карете не оставалось ни одного человека, у которого бы не было искусано и не распухло все лицо. Бедные лошади походили на какую-то падаль — мухи облепили их роями; кучер иной раз слезал с козел и сгонял с несчастных животных их мучителей, но только на минуту. Но вот солнце село, и путников охватил леденящий холод; это было совсем неприятно, зато облака и горы окрасились в чудные блестяще-зеленоватые тона. Да, надо видеть все это самому: никакие описания не могут дать об этом настоящего понятия. Зрелище было бесподобное, с этим согласились все пассажиры, но... желудок был пуст, тело просило отдыха, все мечты неслись к ночлегу, а каков-то еще он будет? И все больше занимались этими вопросами, нежели красотами природы.
Дорога лежала через оливковую рощу, и богослову казалось, что он едет между родными узловатыми ивами; наконец добрались до одинокой гостиницы. У входа расположились с десяток нищих калек; самый бодрый из них смотрел «достигшим совершеннолетия старшим сыном голода», другие были или слепы, или с высохшими ногами и ползали на руках, или с изуродованными руками без пальцев. Из лохмотьев их так и глядела голая нищета. «Eccellenza, miserabili!» — стонали они и выставляли напоказ изуродованные члены. Сама хозяйка гостиницы встретила путешественников босая, с непричесанною головой и в какой-то грязной блузе. Двери были без задвижек и связывались попросту веревочками, кирпичный пол в комнатах был весь в ямах, на потолках гнездились летучие мыши, а уж воздух!..
— Пусть накроют нам стол в конюшне! — сказал один из путников. — Там все-таки знаешь, чем дышишь!
Открыли окна, чтобы впустить в комнаты свежего воздуха, но его опередили иссохшие руки и непрерывное нытье: «Eccellenza, miserabili!» Все стены были покрыты надписями; половина из них бранила Bella Italia (... прекрасную Италию (итал.).)!
Подали обед: водянистый суп, приправленный перцем и прогорклым оливковым маслом, салат с таким же маслом, затем, как главные блюда, протухшие яйца и жареные петушьи гребешки; вино — и то отдавало микстурой.
На ночь двери были заставлены чемоданами; один из путешественников стал на караул, другие же заснули. Караульным пришлось быть богослову. Фу, какая духота была в комнатах! Жара томила, комары кусались, miserabili стонали во сне!
— Да, путешествие вещь хорошая! — вздохнул богослов. — Только бы у нас не было тела! Пусть бы оно себе отдыхало, а душа летала повсюду. А то, куда я ни явлюсь, в душе все та же тоска, та же тревога... Я стремлюсь к чему-то лучшему, высшему, нежели все эти земные мгновенные радости. Да, к лучшему, но где оно и в чем?.. Нет, я знаю, в сущности, чего я хочу! Я хочу достигнуть блаженной цели земного странствования!
Слово было сказано, и он был уже на родине, у себя дома; длинные белые занавеси были спущены, и посреди комнаты стоял черный гроб; в нем лежал богослов. Его желание было исполнено: тело отдыхало, душа странствовала. «Никто не может назваться счастливым, пока не сойдет в могилу!» — сказал Солон, и его слова подтвердились еще раз.
Каждый умерший представляет собой загадку, бросаемую нам в лицо вечностью, и эта человеческая загадка в черном гробу не отвечала нам на вопросы, которые задавал сам человек за каких-нибудь два, три дня до смерти.
О, смерть всесильная, немая, Твой след — могилы без конца! Увы, ужели жизнь земная Моя

увянет, как трава? Ужели мысль, что к небу смело Стремится, сгинет без следа? Иль купит дух страданьем тела Себе бессмертия венец?..

В комнате появились две женские фигуры; мы знаем обеих: то были фея Печали и посланница Счастья; они склонились над умершим.

— Ну, — сказала Печаль, — много счастья принесли твои калоши человечеству?

— Что ж, вот этому человеку, что лежит тут, они доставили прочное счастье! — отвечала Радость.

— Нет! — сказала Печаль. — Он ушел из мира самовольно, не быв отозванным! Его духовные силы не развились и не окрепли еще настолько, чтобы он мог унаследовать те небесные сокровища, которые были ему уготованы. Я окажу ему благодеяние!

И она стащила с ног умершего калоши; смертный сон был прерван, и воскресший встал. Печаль исчезла, а с ней и калоши: она, должно быть, сочла их своей собственностью.